

# Девятая речь. На какой наличный в действительности пункт должно опираться новое национальное воспитание немцев

В последней нашей речи мы провели и завершили многие из тех доказательств, которые обещали Вам уже в первой речи. Ныне, сказали мы, речь идет лишь о том, и такова наша первая задача, – чтобы спасти бытие и дальнейшее существование немцев вообще; все прочие различия исчезают для высшего взгляда; и это спасение всех немцев нисколько не повредит тем особенным обязательствам, которыми кто-нибудь может считать себя связанным. Если только мы сохраним в мысли сделанное нами различие между государством и нацией, то ясно, что уже и в прежнее время цели государства и нации никогда не могли оказаться в противоречии друг другу. Ведь высшая отечественная любовь к общему народу немецкой нации и прежде должна и обязана была стать верховной руководительницей в каждом особенном немецком государстве. Ни одно из этих государств не могло потерять из виду эту высшую цель, иначе все дельное и благородное немедленно оставило бы его, и оно само ускорило бы тем самым собственную свою гибель. Поэтому, чем более человек был охвачен и одушевлен этой высшей целью, тем лучшим гражданином он был и для того особенного немецкого государства, в котором он непосредственно действовал. Немецкие государства могли вступать в споры с немецкими государствами о частных исконных правах. Кто желал сохранения исконного состояния, – а этого, без сомнения, должен был желать, ради его дальнейших следствий, всякий рассудительный человек, – тот должен был желать победы правому делу, в чьих бы руках это дело ни находилось. Особенное немецкое государство могло, самое большее, задаться целью объединить под своим правлением всю немецкую нацию, и ввести единодержавие вместо исконной республики народов. Если же верно, (как, например, полагаю я) что именно это республиканское устройство было до сих пор важнейшим источником немецкой образованности и первым средством для обеспечения немецкого своеобразия, – то, если бы

само это предполагаемое единство нации имело не республиканскую, а монархическую форму, в которой властителю было бы все же возможно подавить во всей немецкой земле и на то время, пока он сам жив, какой-нибудь росток изначального образования, – если это верно, говорю я, то в этом случае было бы великим несчастьем для дела любви к немецкому отечеству, если бы подобное намерение удалось исполнить, и всякий благородный человек на всем просторе нашей общей земли должен был бы воспротивиться подобному намерению. Однако и в этом наихудшем случае немцами все-таки по-прежнему правили бы и изначально направляли ход их высших дел такие же немцы; и даже если бы на недолгое время был утрачен самобытный немецкий дух, то осталась бы все же надежда на то, что он пробудится вновь, и любой сколько-нибудь сильный духом человек на всей земле мог бы ожидать, что его услышат, и что он будет понятен; тогда все-таки существовала бы по-прежнему немецкая нация, и правила бы сама собою, и не погибла бы, растворившись в другой нации низшего порядка. Здесь в нашем расчете существенным всегда остается то, чтобы или сама любовь к немецкой нации стояла у кормила немецкого государства, или, по крайней мере, чтобы к этому кормилу могло доходить влияние этой высшей любви. Но если бы, как мы раньше предположили, это немецкое государство, – представляется ли при этом оно в явлении одним или многими государствами, дела нисколько не меняет, однако в самом деле оно едино, – вообще попало из немецких рук в руки посторонних руководителей, то несомненно, – и противоположное этому было бы противно всякому естеству и решительно невозможно, – несомненно, говорю я, что отныне дело решали бы не цели немцев, а цели чужих народов. Там, где доныне имели свою резиденцию национальные дела всех немцев, и где они имели своих представителей у кормила государства, они были бы отныне под запретом. И если они не должны из-за того совершенно исчезнуть с лица земли, то им нужно приготовить иное пристанище, а именно в том, что только в этом случае и остается, – в совокупности управляемых, в гражданах. Но если бы эти национальные дела уже были доступны гражданам и их большинству, то мы вовсе не оказались бы в таком положении, о котором мы с Вами теперь держим совет; поэтому сознания этих национальных дел в них не имеется, это сознание еще нужно внести в них. А это, иными словами, означает, что в большинстве граждан нужно воспитать это отечественное сознание, а чтобы быть уверенным в большинстве, испробовать это воспитание на всей их целокупности. А тем самым мы в то же время откровенно и ясно доказали, как опять-таки и обещали Вам прежде, что единственно лишь воспитание, а не какое-то иное средство, в состоянии спасти самостоятельность немецкой нации; и если бы кто-нибудь даже и до сих пор не мог бы все еще постигнуть, в чем заключается подлинное содержание и намерение этих наших речей, и в каком смысле следует понимать все наши суждения, – в том, несомненно, не наша вина.

Если выразить это еще короче: если допустить по-прежнему, как мы то и делаем, что у несовершеннолетних не стало отныне родных им по крови отцов-опекунов, и вместо них явились над ними господа, то, если эти несовершеннолетние не должны совершенно превратиться в рабов, они должны именно выйти из-под посторонней опеки, а чтобы они смогли это сделать, их прежде всего нужно воспитать к совершеннолетию. Любовь к немецкому отечеству утратила свою резиденцию; ей нужно дать другую, более обширную и глубокую, резиденцию, где она может утвердиться и закалиться в потаенности и безопасности, чтобы в нужное время обнаружиться со всей силой молодости и вернуть также и государству утраченную им самостоятельность. И пусть это последнее нимало не

беспокоит ни за границу, ни тех из нас, кто предается мелочному и бездушному унынию; можем уверить их, в утешение всем им, что ни один из них не доживет до этого дня, и что время, которое увидит это наяву, будет мыслить не так, как они.

Как бы строго ни смыкались одно с другим звенья этого доказательства, но то, сумеет ли оно овладеть и душами других людей и побудить их к деятельности, зависит прежде всего от того, существует ли вообще нечто такое, что мы назвали немецким своеобразием и любовью немцев к отечеству, и стоит ли оно того, чтобы его поддерживать и к нему стремиться, или не стоит. Что иностранец – зарубежный ли, или наш местный иностранец, – ответит на этот вопрос «нет» – это понятно само собой; но этого иностранца мы и не зовем на совет. Кстати, здесь следует заметить, что решение этого вопроса отнюдь не основано на доказательстве с помощью понятий, которые хотя и могут прояснить дело, но не способны сообщить нам что-нибудь о действительном существовании или ценности, – но каждый человек может проверить истину этих понятий только своим собственным непосредственным внутренним опытом. Пусть миллионы скажут в подобном случае, что этого не существует, – это всегда скажет нам только то, и не более, что этого не существует только лишь в них, а отнюдь не то, что этого вообще не существует; и если один-единственный человек выступит против этих миллионов и заверит их, что это есть, то будет прав против всех этих миллионов. Вполне может случиться, что в указанном случае и я, произнося именно теперь мою речь, есть такой единственный человек, заверяющий всех в том, что он по непосредственному опыту в самом себе знает, что любовь немцев к отечеству существует, что он знает безмерную ценность этого предмета, что единственно только эта любовь побудила его сказать наперекор любой опасности то, что он сказал и что еще скажет. Ведь нам теперь не осталось решительно ничего больше, как только говорить, и даже эти разговоры всячески сдерживают и урезают. Кто чувствует в себе то же самое, того я смогу убедить; кто этого не чувствует, того убедить невозможно, ибо только на эту предпосылку опирается все мое доказательство; убеждая его, я только впустую потратил слова; но такую мелочь, как слова, кто не согласится поставить на карту?

То определенное воспитание, от которого мы ожидаем спасения для немецкой нации, было в общих чертах описано в нашей второй и третьей речи. Мы назвали его совершенным пересозданием рода человеческого, и уместно будет в пояснение к подобному обозначению еще раз обозреть это воспитание в его целом.

До сих пор, как правило, чувственный мир считали подлинным, истинным и действительно существующим миром; именно его в первую очередь представляли питомцу воспитания; только от этого мира питомца направляли к мышлению, причем большей частью – к мышлению об этом же мире и на службе этого мира. Новое воспитание должно решительно перевернуть этот порядок вещей. Для него только тот мир, что постигается в мышлении, есть истинный и действительно существующий мир; в этот мир оно и желает ввести своего питомца сразу же, как только принимается его воспитывать. Только лишь с этим миром оно желает связать всю его любовь и благорасположение, так чтобы в нем с необходимостью возникала и происходила лишь жизнь в этом мире духа. До сих пор в большинстве людей жила только плоть, материя, природа; благодаря новому воспитанию в большинстве, а в скором времени и в целокупности человечества, должен жить и служить побуждением к жизни единственно лишь дух. Это воспитание должно создать в народе вообще тот твердый

и уверенный дух, который, как мы сказали прежде, служит единственно возможной основой благоустроенного государства.

Подобное воспитание, без сомнения, достигает той цели, которую мы поставили перед собою вначале и с описания которой начали мы наши речи. Этот дух, который должно оно создать, заключает в себе, как один из необходимых элементов, высшую любовь к отечеству, постигающую свою земную жизнь как вечную и в отечестве видящую носителя этой своей вечности, а если он создается в немцах – любовь к своему немецкому отечеству. А где есть такая любовь, там сам собою явится мужественный защитник отечества, и спокойный и справедливый гражданин. Подобное воспитание достигает даже большего, чем эта ближайшая цель, – как это и всегда бывает там, где великой цели желают добиться радикальным средством; весь человек будет усовершен во всех своих частях, предстанет законченным в самом себе, совершенно пригодным для всех своих, вне его находящихся, целей, ныне и вовеки. С нашим национальным и отечественным выздоровлением духовная природа неразрывно связала совершенное наше избавление от всего дурного, что тяготит нас теперь.

С тупо удивляющимися, что кто-то утверждает бытие подобного мира чистой мысли и даже как единственно возможного мира, чувственный же мир совершенно оставляет, – как и с отрицающими или сам духовный мир вообще, или даже только возможность того, чтобы большинство простого народа возможно было ввести в этот мир чистой мысли, – с такими людьми мы здесь больше не разговариваем. Таких людей мы уже и раньше совершенно отсылали прочь. Кто еще не знает, что существует мир мысли, тот пусть узнает это в другом месте с помощью средств, которые для этого имеются. У нас нет времени на подобные наставления; но как можно было бы возвысить до сознания этого мира даже большинство простого народа, – вот что мы хотим теперь показать.

Коль скоро же, как мы по здравом размышлении полагаем, идею подобного нового воспитания отнюдь не следует рассматривать просто как образ, предлагаемый публике для того, чтобы она упражняла на нем свое остроумие или свой полемический задор, но эту идею нужно будет в должное время осуществить и ввести в самую жизнь, – то нам следует прежде всего указать теперь, на какое уже имеющееся в действительном мире звено цепи это осуществление должно опираться.

В ответ на этот вопрос мы говорим: оно должно опираться на изобретенный и предложенный Иоганном Генрихом Песталоцци<sup>35</sup> метод обучения детей, который уже успешно воплощается на деле под его наблюдением. Ниже мы намерены дать более глубокое обоснование и ближайшее определение этого нашего решения.

Прежде всего, мы прочитали и продумали собственные сочинения этого человека, и составили себе из них понятие о его дидактическом и воспитательном искусстве; но мы вовсе не принимали к сведению всего того, что сообщали и какого были мнения об этом газеты ученых новостей, и каковы были их мнения об этих мнениях. Мы замечаем это для того, чтобы рекомендовать всякому, кто пожелает также составить себе понятие об этом предмете, пойти тем же самым путем, и совершенно избегать противоположного. Так же точно не желали мы до сих пор замечать ничего из действительного осуществления этого

метода, – отнюдь не из пренебрежения к воплощению, но потому, что хотели составить себе сначала твердое и верное понятие о подлинном намерении изобретателя, которое нередко может намного опережать его действительное осуществление, а из этого понятия уже само собою, без всяких опытов вслепую, выяснится и понятие об осуществлении на деле и его необходимых результатах, и только обладая этим первым понятием, можно подлинно понять и правильно оценить это осуществление. Если, как полагают иные, и этот метод обучения уже выродился тут и там в слепое эмпирическое ковыляние, и в пустые игры и истолкования наглядно данного, то по крайней мере основное понятие самого изобретателя в этом, по моему мнению, нисколько не виновно.

За это основное понятие мне ручается, во-первых, своеобразие самого этого человека, которое он с самой верной и задушевной искренностью представляет нам в своих сочинениях. На его примере, так же точно как и на примере Лютера, или, если были на свете еще и другие подобные им люди, на каком-нибудь другом примере, я мог бы представить Вам основные черты немецкой души, и дать утешительное для сердца доказательство, что на всем пространстве, где звучит немецкая речь, эта душа еще и доныне жива в полноте своей чудотворной силы. И он тоже всю свою трудную жизнь, в борьбе со всевозможными препятствиями, – и в собственной душе, со своей закоренелой неясностью и беспомощностью, и даже сам располагая при этом весьма немногими подспорьями ученого воспитания, – и вне себя, долго не будучи признан обществом, – стремился к цели, которую лишь смутно предчувствовал и которой сам совершенно не сознавал вполне, а побуждало его и поддерживало неиссякаемое и всемогущее и немецкое влечение – любовь к бедному безпризорному племени. Эта всемогущая любовь избрала и его своим орудием, как Лютера, только в ином и более соответствующем его времени отношении, и стала жизнью его жизни. Именно она была, ему самому неведомой, прочной и неизменной путеводной нитью для его жизни, что вела его сквозь мрак окружавшей его ночи и увенчала вечер его жизни (ибо невозможно было подобной любви покинуть эту землю без всякой награды) тем подлинно духовным его изобретением, которое давало много более, чем он когда-либо мог представить в самых смелых своих мечтах. Он хотел всего лишь помочь народу. Но его изобретение, если рассматривать его во всем его объеме, уничтожает и народ, и всякое различие между простым народом и образованным сословием, вместо искомого народного воспитания дает нам национальное воспитание, и, вероятно, способно было бы помочь народам и всему роду человеческому подняться к свету из глубины их нынешних бедствий.

Это основное понятие его изложено в его сочинениях с совершенной ясностью и очевидной для всех определенностью. Во-первых, в отношении формы, он желает не прежнего произвола и слепого брожения, но желает создать твердое и верно рассчитанное искусство воспитания, какого желаем и мы, и какого необходимо должна желать немецкая основательность. И он весьма непринужденно рассказывает нам, как одна французская фраза, а именно, что он будто бы «желает механизировать воспитание», помогла ему пробудиться от сна относительно этой его цели<sup>36</sup>. В отношении же содержания первый шаг описанного мною нового воспитания заключается в том, что оно возбуждает и образует свободную деятельность духа воспитанника, его мышление, в котором должен впоследствии открыться ему мир его любви, – этим первым шагом преимущественно занимаются сочинения Песталоцци, и к этому предмету мы прежде всего обращаемся,

желая испытать его основное понятие. А в этом отношении высказанный Песталоцци упрек прежнему обучению в том, что оно только погружает ученика в мир туманов и теней и никак не хочет позволить ему добраться до действительной истины и реальности<sup>37</sup>, равнозначен сказанному нами об этом способе обучения, – что оно неспособно было вмешиваться в действительную жизнь или образовать корень этой жизни. А вспомогательное средство, которое предлагает против этого зла Песталоцци, – приучить питомца к непосредственному созерцанию<sup>38</sup>, – равнозначно с предложенным нами средством, – побудить его духовную деятельность к начертанию образов, и научить его всему, чему он научится впоследствии, только в подобном свободном творчестве образов: ибо созерцать возможно лишь то, что мы сами свободно начертали. То, что изобретатель в самом деле имеет в виду именно это, а отнюдь не понимает, скажем, под созерцанием лишь вслепую и на ощупь движущееся восприятие, – за это ручается нам указанное им воплощение его метода. И так же точно совершенно верно указывает он для этого возбуждаемого воспитанием созерцания питомца общий и весьма глубокий закон, согласно которому воспитание должно строго соразмеряться при этом с возникновением и развитием тех сил ребенка, которые оно желает развивать.

Все же промахи и ошибки этого дидактического плана Песталоцци в частных его выражениях и предложениях имеют один общий источник, а именно то, что скудная и ограниченная цель, к которой он стремился вначале, – оказать самую необходимую помощь наиболее забытым обществом детям из народа, предполагая, что целое останется таким, как и прежде, с одной стороны, и средство, которое позволяет достичь гораздо более высокой цели, с другой стороны, смешались и потому пришли в противоречие друг с другом. И мы сможем наверняка избавиться от всяких ошибок и составим себе понятие о предмете, совершенно согласное в самом себе, если оставим в стороне первое и все, что следует, если принять его в расчет, и станем придерживаться и последовательно осуществлять только последнее. Без сомнения, только от желания как можно скорее выпустить из школы на собственные заработки этих детей самых нищих родителей и однако же снабдить их средством, которое позволило бы им впоследствии восполнить свое прерванное обучение, возникла в любящей душе Песталоцци свойственная ему переоценка чтения и письма и утверждение, будто это чтение и письмо суть едва ли не цель и вершина всего обучения народа, и его наивная вера в суждение прошедших тысячелетий, согласно которому именно они суть лучшее подспорье в учении. В противном же случае он непременно нашел бы, что именно чтение и письмо были до сих пор самым верным орудием для того, чтобы погрузить людей в царство теней и тумана, и сделать их не в меру учеными. Отсюда же, без сомнения, происходят и некоторые другие его предложения, противоречащие его собственному принципу непосредственного созерцания, и в особенности его совершенно ошибочное воззрение на язык, как средство, способное возвысить род человеческий от смутного созерцания к отчетливым понятиям<sup>39</sup>. Мы, со своей стороны, говорили не о воспитании народа, в противоположность воспитанию высших сословий, – потому, что мы хотели бы, скорее, чтобы народа, в этом смысле низкой и подлой черни, отныне вовсе не существовало, и потому, что, в интересах немецкой нации, терпеть подобный народ долее невозможно, – мы говорили о национальном воспитании. Если это воспитание должно когда-нибудь явиться в действительности, то убогое желание, чтобы воспитание только побыстрее заканчивалось и ребенка можно было снова пристроить к труду, не должно отныне даже раздаваться среди нас, но, собираясь на совет об этом деле, это желание нам следует с

самого же начала оставить. Хотя, как я думаю, это воспитание будет не слишком дорогим, воспитательные заведения смогут в значительной степени содержать себя сами, и труду не будет от них никакого ущерба; но даже если бы все это было не так, питомец безусловно и любой ценой должен оставаться в ведении воспитания до тех пор, пока это воспитание не будет завершено, и пока не будет возможно завершить его. А это половинчатое воспитание ничем не лучше, нежели совсем никакого; оно именно оставляет все в прежнем виде; и если вы хотите, чтобы все так навсегда и осталось, то лучше избавьте себя от полумер и объявите прямо с самого начала, что вы не желаете, чтобы воспитание помогало человечеству. А при этой предпосылке чтение и письмо не может принести никакой пользы национальному воспитанию, пока продолжается это воспитание, однако может стать весьма вредным для него, потому что легко может отвлекать питомца, как и отвлекало до сих пор, от непосредственного созерцания к одним лишь знакам, и от внимания, которое знает, что не схватывает ничего, если не схватывает этого здесь и теперь, к рассеянности, которая утешает себя воспоминанием о своих подробных конспектах и желает когда-нибудь научиться по бумаге тому, чему никогда уже, вероятно, не научится, и вообще к мечтательности, столь часто присущей тем, кто занимается премудростью букв. Только когда воспитание уже окончательно завершилось, в виде как бы последнего напутственного подарка питомцу, мы можем сообщить ему это умение и руководить питомцем в том, чтобы через анализ языка, которым он давно уже владеет в совершенстве, изобретать буквы и пользоваться ими, – что при всем остальном уже им полученном образовании будет для него легкой игрой. Так обстоит дело в общем национальном воспитании. Иное дело – будущий ученый. Он должен будет некогда не только высказываться об общезначимом то, что сердце его скажет об этом, но должен будет в одиноких размышлениях явить на свет языка потаенную и неосознанную им самим неповторимую глубину своей души, а потому он должен возможно ранее освоить письмо как орудие этого одинокого и однако же вслух совершающегося мышления, и научиться образовывать это орудие; однако же и с ним не следовало бы так торопиться, как торопились его воспитатели до сих пор. В свое время, когда пойдет речь об отличии общего национального воспитания от ученого воспитания, это станет нам ясно с большей отчетливостью.

Соответственно с этим воззрением, все то, что говорит изобретатель этого метода о звуке и слове, как средствах для развития духовной силы, нужно исправить и ограничить. План этих речей не позволяет мне вдаваться в детали этого предмета. Сделаю лишь одно замечание, глубоко связанное с целокупностью нашего исследования. Основа того, как представляет он себе развитие познания питомца, заключается в его «Книге для матери»<sup>40</sup>; при этом он, помимо прочего, весьма многого ожидает от домашнего воспитания. Что касается прежде всего самого этого домашнего воспитания, то мы и в самом деле не намерены спорить с ним о тех надеждах, которые возлагает он на матерей<sup>41</sup>; но что касается нашего высшего понятия о национальном воспитании, то мы твердо убеждены, что это воспитание, особенно в трудящихся сословиях, совершенно невозможно ни начать, ни продолжить или завершить в доме родителей, вообще не отделяя детей совершенно от их родителей. Тягота, страх за насущный заработок, мелочная пунктуальность и корыстолюбие, тесно с этим связанная, непременно заразят и детей, обременят их души и помешают им свободно воспарять в мир мысли. Это – одна из неперемennых предпосылок осуществления нашего плана, и обойтись без нее никоим образом невозможно. Что будет, если человечество в целом в каждую следующую эпоху будет повторяться таким же точно, каково оно было в предшествующую

эпоху, – это мы уже достаточно наглядно видели прежде; если должно произойти совершенное преобразование человечества, то его нужно однажды совершенно оторвать от него самого, и провести разделительную цезуру в его прежнем образе жизни. Только когда одно поколение людей пройдет школу нового воспитания, можно будет обсудить вопрос о том, какую часть национального воспитания мы можем верить воспитанию домашнему. – Если же не принимать этого в расчет и рассматривать «Книгу для матери» Песталоцци лишь как первооснову обучения, то и содержание ее, – разговор о теле ребенка, – выбрано совершенно неудачно. Он исходит из довольно верного положения, согласно которому первым предметом познания для ребенка должен быть сам ребенок, но разве «сам ребенок» – это тело ребенка? Разве тело матери, коль скоро это человеческое тело, не бывает для него гораздо ближе и зримее? И как же может ребенок получить наглядное познание о своем теле, не научившись сперва пользоваться им? Подобное познание не есть вовсе познание, но простое заучивание произвольных словесных знаков, происходящее от переоценки слова и речи. Подлинной основой обучения и познания была бы, выражаясь языком самого Песталоцци, азбука ощущений<sup>42</sup>. Как только ребенок начинает воспринимать звуки речи и сам, силою необходимости, образовывать эти звуки, его следует направлять к тому, чтобы высказываться с совершенною отчетливостью: голоден ли он, хочет ли спать, видит ли он то ощущение, которое обозначается тем или иным выражением, или он слышит, осязает и т. п., или он даже просто что-нибудь прибавляет к нему своей мыслью; насколько, и с какими оттенками, различны между собой различные впечатления на один и тот же чувственный орган, обозначаемые различными выражениями, например, цвета; и все это в верной последовательности, которая способствует правильному развитию самой способности ощущения. Только таким образом у ребенка появится некое Я, которое он сможет отличить от всего прочего и проникнуть свободным и обдуманым понятием, и только так, с самым первым пробуждением его к жизни, его жизнь обретет духовное око, утратить которое она отныне уже не сможет. Тем самым и для последующих упражнений его созерцания пустые сами по себе формы числа и меры получают отчетливо постигнутое внутреннее содержание, которое между тем при методе Песталоцци им можно сообщить лишь насильственно или по смутному влечению. В сочинениях Песталоцци мы находим примечательное в этом отношении признание одного из учителей его заведения, который, быв однажды посвящен в тайны этого метода, начал видеть вокруг себя лишь пустые геометрические тела. Так должно было случиться и со всеми питомцами этого метода, если бы не сохраняла их от этого, неприметно для них же самих, их духовная природа. А здесь, в этом отчетливом постижении того, что мы собственно ощущаем, пусть не языковой знак, но сама речь и потребность его высказать свое познание другим образует человека и возвышает его, из мрака и смутности понятия к ясности и определенности. В душе ребенка, в котором впервые пробуждается ясное сознание, толпятся разом все впечатления окружающей его природы, и смешиваются в неясный хаос, где ничто отдельное не проступает перед ним из общей сутолоки. Как же может он когда-либо выбраться из этой первоначальной смутности форм? Он нуждается для того в помощи других; а эту помощь он получит только, если определенно выскажет свою потребность, отличая ее при этом от подобных ей потребностей, которые уже закреплены в знаках языка. Он оказывается вынужден, руководствуясь этими различиями, собранно и сдержанно наблюдать за самим собою, отличать и сравнивать то, что он действительно чувствует, с тем, что хотя ему тоже известно, но чего он в настоящий момент не чувствует. Только таким образом в нем выделится рассудительное и свободное Я. И по этому пути, которым направляют нас нужда

и природа, воспитание должно следовать дальше с обдуманым и свободным искусством.

В области объективного познания, направленного на внешние предметы, знакомство со словесным знаком решительно не прибавляет отчетливости и определенности внутреннего познания для самого познающего, но только возвышает это познание в совершенно иную сферу сообщимости его для других. Ясность этого познания всецело основана на созерцании, и то, что мы по собственному усмотрению можем воспроизводить в воображении во всех его частях именно таким, каково оно и есть в действительности, бывает тогда вполне познано нами, все равно, есть ли у нас слово для него или же нет. Мы убеждены даже, что эта законченность созерцания должна предшествовать знакомству со словесным знаком, и что тот, кто ведет нас в обратной последовательности, как раз и приведет нас в тот мир теней и туманов, и к незрелому многоречию, которые были так ненавистны для Песталоцци, и даже, что тот, кто жаждет лишь, чем скорее тем лучше, узнать новое слово, и считает свои познания приумноженными, как только он его знает, – как раз и живет в этом мире туманов, и заботится единственно о расширении этого самого мира. Обнимая в целом систему мыслей нашего изобретателя, я полагаю, что именно эту азбуку ощущений он и стремился сделать первоосновой духовного развития и содержанием его «Книги для матери», и она смутно предносилась ему во всех его суждениях о языке, и что единственно только недостаток философских исследований помешал ему достичь в этом пункте совершенной ясности в самом себе.

Если же предположить это развитие самого познающего субъекта в его ощущениях, и положить его первой основой желаемого нами национального воспитания, то азбука созерцания Песталоцци, учение его об отношениях числа и меры, будет совершенно целесообразным и превосходным следствием этой азбуки. К этому созерцанию можно будет привязать любую часть чувственного мира, это созерцание можно будет ввести в область математики, до тех пор, пока питомец не будет достаточно образован этими предварительными упражнениями, чтобы его можно было подвести к начертанию общественного порядка жизни людей и к усвоению любви к этому порядку, как второго и существенного шага в его образовании. Уже говоря об этой первой части воспитания, мы не можем пройти мимо еще одного предмета, которого разработка была начата Песталоцци: развитие физических навыков питомца, которое необходимо должно идти вперед рука об руку с развитием его духовных навыков. Он требует некоторой азбуки искусства, т. е. телесного умения. Наиболее выдающиеся суждения его об этом предмете следующие: «Удар, ношение, бросание, толкание, тягание, кручение, борьба, метание – вот простейшие упражнения силы. Существует естественная последовательность от начальных шагов в этих упражнениях вплоть до совершенного искусства в них, т. е. до высочайшей степени нервного такта, который придает меткость удару и толчку, метанию и броску, в сотнях различных вариантов, и уверенность руке и ноге». Все дело здесь – в естественной последовательности, и недостаточно будет просто вмешаться в нее своим слепым произволом и ввести какое-нибудь новое упражнение, чтобы только о нас могли сказать, что и у нас, как, например, у греков, есть физическое воспитание. В этом отношении еще предстоит сделать все, ибо Песталоцци не дал такой азбуки искусства. Эту азбуку искусства еще предстоит составить, причем для этого нужен человек, который, одинаково чувствуя себя как дома в анатомии человеческого тела и в науке механики, соединял бы с этими познаниями немалую меру философского духа, и который сумел бы таким образом найти, в

полноте всестороннего совершенства, ту машину, для которой имеются задатки в человеческом теле, и указать, каким образом можно было бы постепенно, так чтобы каждый шаг совершался в единственно возможной верной последовательности, подготовляющей и облегчающей собою все последующие шаги, и чтобы при этом здоровье и красота тела и сила духа не только не подвергалась бы никакой опасности, но даже укреплялась бы и прирастала, – как, говорю я, и каким образом можно было бы постепенно создать эту машину из каждого здорового человеческого тела. Неотъемлемая необходимость этого элемента в воспитании, обещающем образовать всего человека и предназначенного в особенности для нации, которая должна восстановить и впредь постоянно поддерживать свою самостоятельность, очевидна без особенного напоминания.

Все, что еще нужно сказать о ближайшем определении нашего понятия о немецком национальном воспитании, мы оставляем до следующей речи.

---

Версия #1

Зверобой создал 13 апреля 2025 13:23:26

Зверобой обновил 13 апреля 2025 13:23:49